

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

Бабашкин В.В.

**Личное подсобное хозяйство сельских жителей России в
1960-е – 1990-е гг.: с точки зрения крестьяноведения**

Москва 2015

Бабашкин В.В. профессор кафедры политико-правовых дисциплин и социальных коммуникаций экономического факультета Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

Данная работа подготовлена на основе материалов научно-исследовательской работы, выполненной в соответствии с Государственным заданием РАНХиГС при Президенте Российской Федерации на 2014 год.

Особенности методологии крестьяноведения применительно к анализу эволюции аграрных отношений в нашей стране в 60-е – 90-е гг. прошлого столетия лучше всего рассмотреть именно на примере проблематики ЛПХ советских/российских тружеников села, поскольку это та сфера повседневной жизни, в которой крестьянственность как базовая ментальная характеристика огромного количества соотечественников продолжала и продолжает сохраняться наилучшим образом. И особенности эти, как это неоднократно мною подчеркивалось в публикациях прошлых лет, весьма существенно отличают данный теоретический подход к исследованию проблем общественного бытия от обеих вариаций на тему прогресса – советского научного коммунизма и западного антикоммунизма, рыночного прогрессизма.

Во времена хрущевской «оттепели», когда, как известно, для сельского хозяйства центральным руководством страны было сделано очень немало в плане укрепления материальной базы, развития социальной инфраструктуры и т.п., в отечественной историографии и экономической социологии (Т.И. Заславская и др.) был шанс уйти от научно-коммунистических стереотипов при анализе аграрных отношений в прошлом и настоящем. Однако «новое направление» в советской историографии к середине 60-х гг. было решительно разгромлено [1, с. 219-236], исследователи колхозной экономики также подвергались большому идеологическому давлению [2, с. 448-456]. В результате в 1966 г. в центральном научном издательстве «Мысль» вышла книга ректора Высшей школы профдвижения активного участника разгрома «нового направления» (представители которого отрицали факт существования аграрного капитализма в истории России и говорили о фактической многоукладности сельскохозяйственной экономики) Г.В. Шарапова «Критика антикоммунизма по аграрному вопросу» [3]. Эта книга задавала жесткие рамки рассмотрения основных проблем в области теории и истории аграрных отношений в стране как минимум на ближайшие два

десятилетия. И в этих рамках проблематике ЛПХ принадлежало почетное место, т.к. здесь пролегла едва ли не самая напряженная линия идейного противостояния между коммунизмом и антикоммунизмом.

Начнем с тех постановок вопроса, которые в западной исследовательской литературе были связаны с существованием в 60-е гг. и далее в довольно развитом виде личного подсобного хозяйства тех жителей советской деревни, которые формально числились тружениками в сфере кооперативно-колхозной собственности и рабочими госпредприятий, каковыми считались совхозы. ЛПХ позиционировалось западными аграрниками как «аномалия» с точки зрения идеалов социалистического централизованного управления сельскохозяйственным производством, особый частнопредпринимательский уклад в обществе, политическое руководство которого ставило одной из основных своих целей в теории и на практике борьбу с частным предпринимательством [4, р. XV]. Они писали об этом как о «скрытом явлении» в советской экономике, которое противостоит перманентно углубляющемуся кризису общественного хозяйства, «балансирует капризы и неэффективность социалистического сельского хозяйства»; и это, несмотря на имманентно негативное отношение государства к этой области социально-экономического бытия страны, делает возможным «нелегкое сосуществование двух противоположных экономических укладов» [5, р. 560]. ЛПХ позиционировалось как несравнимо более эффективное производство сельскохозяйственной продукции советскими гражданами по сравнению с колхозно-совхозным производством с точки зрения напряжения трудовых усилий и реализации результатов труда, что по идее должно было в конечном итоге обречь государственную аграрную политику на полный отказ от колхозов и совхозов как экономических форм в пользу всемерного поощрения частной инициативы в ЛПХ [6, р. 149].

Западных авторов раздражала манера их советских оппонентов отрицать частнопредпринимательский характер функционирования ЛПХ на том основании, что очевидная тесная связь между частным хозяйством колхозников и общественным, т.е. «социалистическим», хозяйством колхозов по существу делало и ЛПХ разновидностью социалистического производства. «Советские авторы, – писал профессор Гессенского университета К.-Е. Вадекин, – всячески подчеркивают, что в настоящих условиях частный сектор в сельском хозяйстве зависит в своем существовании от социалистического сектора. Между тем, было бы правильно сказать, что социалистический сектор не может существовать без частного». Он проводит прямую историческую параллель между ведущими ЛПХ колхозниками и зависимыми поденными рабочими в прежних северогерманских поместьях, которые также не имели возможности существовать только за счет своих наделов без той натуральной и денежной поддержки, которую они получали от помещиков: «Колхоз (или поместье) не может существовать как экономическая единица без зависимой рабочей силы» [4, р. 17-18].

Любые свидетельства поддержки со стороны властей производства продукции ЛПХ воспринимались западными наблюдателями как отход от основной политической линии. Например, соответствующее Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 8 января 1981 г. лондонский «Экономист» комментировал так: «В СССР трубят отступление от сталинской кровавой насильственной коллективизации, которая обрекла российское сельское хозяйство на столь длительный застой» [7, р. 15]. Пытаясь более взвешенно разобраться в сути противоречий при анализе феномена ЛПХ между западной и советской постановками проблемы, К. Е. Вадекин указывал на семантическую составляющую данного идеологического спора: «В значительной мере конфликт между советской и западной интерпретацией – это проблема семантики. Русское слово

“частный” подразумевает большую степень отчуждения, нежели западное “private”. В марксистско-ленинском русскоязычном употреблении “частный” имеет более ограниченное значение, чем “private” в романо-германских языках, и этим во многом объясняется советский мелочный педантизм в связи с этим термином» [4, p. 11].

Словоупотребление – очень важная вещь в общественной науке, и это важно вдвойне, когда речь идет о научной полемике между представителями не просто разных школ знания – разных цивилизаций. У столь известного американского специалиста по историко-социологическому анализу проблем СССР в XX веке, как М.Л. Левин (которого с полным основанием можно отнести к крестьяноведческому направлению научного анализа) есть интересное размышление о том, насколько часто советские историки и обществоведы называли проблемы и явления не своими именами, использовали “misnomers” [8, с. 59, 76]. Мною также была в свое время написана статья на эту тему [9]. Так, в споре по данной принципиальной проблеме советологи по понятной причине не могли переводить словосочетание «личное подсобное хозяйство» как, скажем, «personal plot»: называясь «личным», это хозяйство, по сути, всегда было семейным, что определялось и традицией, и необходимостью не «личного», но совместного труда в таком хозяйстве. Однако, переводя на английский (или какой-то романо-германский) язык ЛПХ как «private plot», западные аналитики сами себе затрудняли задачу лучшего понимания предмета спора. Подобно столыпинским реформаторам начала века, они чаще всего исходили из заведомой установки либерально-рыночной теории о сковывающем факторе государства, о том, что естественной мечтой любого колхозника является укрепиться в своём «private plot», добившись максимальной независимости от давления административных структур всех уровней. А это было не совсем так или совсем не так – в зависимости от исследуемого исторического периода и конкретного региона нашей необъятной Родины с ее

многообразными региональными традициями социально-экономической повседневности.

Поэтому многие советологи, что называется, «на голубом глазу» выражали на страницах своих работ глубокое сочувствие заморенным государственной эксплуатацией рядовым труженикам колхозов и совхозов и вырабатывали, как казалось, научно обоснованные рекомендации, в каком направлении должна осуществляться дальнейшая эволюция партийной политики в области развития аграрной экономики вообще и ЛПХ, в частности. Рекомендации были приблизительно такие: расширить площади ЛПХ и увеличить количество скота и птицы в нем, отменить «традиционный советский запрет на применение наемного труда», разрешить покупку техники частным лицам и сдачу земли в аренду, обеспечить все эти мероприятия созданием государственной кредитной системы [6, р. 163-164, 235; 10, с. 143]. Несложно заметить, что подобного рода соображения и рекомендации сродни тем, с которыми гарвардские эксперты приезжали в Россию начала 90-х гг. по приглашению «младореформаторов». По существу, это иная форма утверждения: рыночно-либеральная система ценностей и система организации экономики является более прогрессивной по сравнению с той, что существует в СССР, следовательно, необходимо делать все, чтобы последняя немедленно начинала походить во всех отношениях на то, что существует в странах Западной цивилизации (почти как в известном мультфильме, герои которого увлеченно спорили, «крылья, ноги или хвосты»). При этом разбираться достаточно детально, кто живет в советской деревне и как эти люди осуществляют свою повседневную экономическую деятельность (пользуясь тем же мультяшным сравнением – летают, бегают или ползают), совершенно необязательно. Достаточно того, что советский аграрный строй воочию демонстрирует свою «контрпродуктивность», а островки западных ценностей, представленные ЛПХ – отличную эффективность. Теперь уже понятно, что модели, внешне имитирующие

действие западной экономики или демократии, на российской почве работают парадоксально.

Но во времена идеологических споров 70-х – 80-х гг. между советологами и их советскими коллегами, вооруженными научной методологией марксизма-ленинизма, обеим сторонам верилось в свою правоту. На стороне первых была экономическая статистика производительности аграрного труда, урожайности зерновых и продуктивности молочного стада, уровня механизации и автоматизации основных сельскохозяйственных операций, а также статистика, свидетельствующая о прямой зависимости между этой механизацией и автоматизацией и высокими показателями урожайности и производительности. На стороне соотечественников был целый ряд аргументов казуистического свойства (казавшихся противной стороне странными и наивными), а также некая метафизическая вера в свою правоту, «научность», в правильность выбранного пути, вера, что вот-вот «сработает» (по-научному, переход количества в качество – количества затраченных усилий и обманутых ожиданий в какой-то новый уровень аграрного производства и продовольственного потребления; а если не совсем по-научному, это, похоже, было одно из проявлений русской души, связанное с верой в чудо).

Аргументы советской стороной использовались, к примеру, такие. Цитировалась статья 13 Конституции СССР: «Имущество, находящееся в личной собственности или в пользовании граждан, не должно служить для извлечения нетрудовых доходов, использоваться в ущерб интересам общества». С высоты сегодняшнего дня, казалось бы, какая ерунда, убрать из Конституции эту и ряд других статей, цементирующих основы советской общественно-экономической системы, раз уж они мешают вступить на столбовую дорогу достижения продовольственного изобилия – да и дело с концом. Но, во-первых, жизнь показала, что провозглашение в Конституции

1993 г. частной собственности как чуть ли не главной ценности проблему, мягко говоря, не решает, и внутренняя российская полемика по вопросу о частной собственности на землю сегодня остра, как никогда. Во-вторых, тогда, в 60-е и даже в начале 80-х гг. строка Конституции представлялась чем-то вроде последнего слова науки, а сама общественная наука – чем-то, столь же точным, как физика и математика. В-третьих и в-главных, состояние общественной науки в СССР, по моему глубокому убеждению, было не столь плачевным, как это представлялось в начале 90-х гг. и победившей стороне в идеологическом споре «советологи – научные коммунисты», и даже – как это ни парадоксально – большинству представителей проигравшей стороны.

Среди последних наблюдался массовый переход на сторону «противника», причем чем большим коммунистом был тот или иной историк, тем большим антикоммунизмом была пронизана его новая риторика. Наиболее яркий пример – член Политбюро ЦК КПСС А.Н. Яковлев, провозгласивший большевизм «раковой опухолью», уничтожавшей в России поколение за поколением [11, с. 5]. Дело в том, что у многих представителей отечественного обществоведения сработал тоталитарный стереотип мышления: рухнула «научно» предсказанная перспектива, которую так ждали, готовились и других идейно готовили, рухнула с треском, как в России и положено, а значит и марксизм-ленинизм – никакая не наука, а, как его и аттестовали оппоненты по идеологической борьбе, набор насквозь фальшивых мифов. Далее логика тоталитарного мышления требует низвергнуть прежних гуру (Маркс, Ленин, текущий генсек, руководитель отдела науки ЦК КПСС и т.п.), но она же требует их кем-то (чем-то) срочно заместить. Кто тут больше всего подходил, как не прежние оппоненты-советологи, и что – как не наиболее известные их сочинения о России? Но это был глубоко ложный посыл, и сегодняшние либерально-рыночные стереотипы еще менее подходят для размышлений о российском обществе, чем годились для этого в начале XX в. основные теоретические послы

либеральных оппонентов большевиков (включая даже и меньшевиков). Среди нынешних российских обществоведов было и есть довольно много людей, которые отчетливо это понимают. Один из способов такого понимания – теории среднего уровня (прежде всего, крестьяноведение). Одно из наиболее ярких проявлений такого понимания – споры на заседаниях теоретического семинара «Современные концепции аграрного развития» [12].

О том, что не так уж все и плохо было с общественными науками в СССР, можно много писать. В данном контексте достаточно упомянуть уже упомянутых историков «нового направления» в советской историографии, творческого наследия которых никто не отменял – было лишь заторможено политико-административными методами воздействие этой школы исторической мысли на проблематику сегодняшних исторических исследований. Можно также вспомнить о научном наследии Т.И. Заславской и нынешней активной исследовательской деятельности целой плеяды экономистов-социологов ее школы и их учеников. Но особое внимание я бы привлек здесь к деятельности социологов исследовательской группы, которая в начале 90-х гг. образовалась вокруг фигуры Т. Шанина. В отличие от экономических социологов Т. Заславской, их можно было бы, по специализации их учителя и наставника, назвать *историческими социологами*, что лишний раз подчеркивает: крестьяноведение – междисциплинарно.

Так, скажем, в исследовательской деятельности филолога и философа В.Г. Виноградского из года в год вот уже более двух десятилетий кряду дотошно и детально восстанавливается *история* деревни на Кубани – восстанавливается средствами крестьяноведения, т.е. через особое бережное внимание к деталям повседневной жизни. И в этой истории люди живут, чувствуют и поступают не так, как они должны это делать в соответствии с тем или иным идеологическим каноном теории прогресса (или не совсем

так), а так, как они это *реально* делают [13]. Наверное, существует такая закономерность, что чем больше внимания к деталям, чем больше конкретики, тем, конечно, сложнее (хотя и интереснее!) сделать то или иное обобщение, зато тем меньше места для идеологической трескотни о социализме, капитализме или глубоких исторических корнях и просто недостижимых человеческих достоинствах той или иной «нации» в сравнении с другими (зловыми, подлыми, тупыми и т.д.). Так вот при всех возможных недостатках советская общественная наука все же обладала научными школами во многих своих отраслях, дисциплинах, а школа – это всегда добросовестная и методичная работа с фактом. Исследователи-полевики в области экономической социологии, исторической социологии продолжают увлеченно и жадно добывать новые факты для старых и новых теоретических обобщений. Историки классической школы делают то же в архивах. Поэтому утверждения о кончине советского обществоведения, бывшие одно время столь популярными, думается, преждевременны.

Разумеется, в спорах между представителями западной советологии и советского «научного коммунизма», помимо цитирования статьи советской Конституции о природе и характере личной собственности в СССР, в отличие от частной – на Западе, употреблялись и другие аргументы, которые высокомерному современному либералу покажутся смехотворными. Но даже и к конституционному положению о личной собственности советских граждан есть смысл для представителей исторической социологии подойти внимательно и вдумчиво. Закрепленное в нем и 5 декабря 1936 г., и 7 октября 1977 г. представление о невозможности использования собственности для целей извлечения нетрудовых доходов куда более глубоко укоренено в народных представлениях о справедливости вообще, чем святое для каждого либерала положение римского права о священности и неприкосновенности частной собственности. Ныне здравствующие и совсем еще не старые люди могут хорошо помнить, как решением сельсовета участок земли, который год

зарастающий бурьяном в какой-нибудь деревне, мог быть изъят из пользования (собственностью на землю обладало только государство) нерадивого хозяина и передан более сознательному колхознику. И это вполне корреспондировалось с вековым чувством справедливости соотечественников. Сегодня даже не стоит проводить широких социологических опросов для сравнения, как относится большинство сегодняшних российских граждан к такой вот советской архаике и к той ситуации, когда огромные заборы и шикарные особняки позади них не дают возможности жителям целых деревень проходить к реке или озеру. Результат подобного опроса вполне предсказуем. Исторический ракурс этой проблемы даст сколько угодно свидетельств самого разного свойства в пользу того, что, скажем в нэповские 20-е гг. (в которых либерал увидит лишь глоток «воздуха свободы», злокозненно прерванный сталинской верхушкой партии, загнавшей крестьянскую деревню в стойло коллективизации) – даже и в нэповские годы большинство деревни было негативно настроено против «кулака», «мироеда», «выжиги».

Последнее утверждение способно глубоко возмутить нынешнего либерального интеллигента, мыслящего, как правило, ходульно и штампованно. Для него кулак – почти святой, соль земли русской, самый трудолюбивый обитатель деревни, с особой жестокостью изведенный в 30-е гг. большевистской властью и ее социальной опорой в деревне, вечно пьяным комбедовцем. Это неплохой пример как идеологической зашоренности ряда соотечественников и современников, так и актуальности исторического материала (исторической социологии) для современной социально-политической аналитики. Ведь реальное явление, если без шор, очень сложное и интересное. Синонимический ряд с кулаком и мироедом в Словаре великорусского языка В.И. Даля довольно большой (вот когда ещё явление-то возникло) и не ограничивается только лишь негативными коннотациями. Оказывается, даже и бедные крестьяне, не говоря о средних, которых в

деревне всегда было большинство, могли руководствоваться в своем отношении к разбогатевшему односельчанину не только завистью и ненавистью, но и уважением. Все зависело от того, насколько трудовыми были доходы местного богатея. Нередко случалось, что богатство образовывалось мужицким трудом, помноженным на добротные личные качества и удачливость. К таким кулакам претензий не было, их называли «крепьши» или «кремень». Но чаще за кулаком стояли совсем другие дела – отношение было соответствующее [14, с. 215; см. также: 15, с. 189]. Так что за строчкой советской Конституции о «нетрудовых доходах» можно рассмотреть не только издевательство над идеалами и ценностями либерализма, но и иные вещи. Нужен историко-социологический ракурс.

В числе других аргументов, которые обычно приводила советская аграрно-экономическая литература в теоретических размышлениях о природе и перспективах ЛПХ деревенских жителей (а через нее и литература, специализировавшаяся на критике аграрного антикоммунизма), был акцент на натурально-потребительский его характер. Подчеркивалось, что оно было производно и зависимо от общественного сектора колхозно-совхозного производства, носило подчиненный по отношению к нему характер и служило не основным, но дополнительным источником дохода для того, кто официально считался работником колхоза или совхоза. Ведь изначально, согласно Примерному уставу сельскохозяйственной артели, принятому в 1935 г., само юридическое право вести ЛПХ предоставлялось лишь семьям тех, кто числился в колхозе/совхозе, на МТС. Обычно при такой аргументации признавались те статистические показатели, которые западные оппоненты приводили в подтверждение огромного удельного веса продукции, производимой в ЛПХ, в валовой продукции сельского хозяйства страны в целом: 64% всего картофеля страны, 33% овощей, 31% мяса, 30% молока, 32% яиц. Но при этом подчёркивалось, что в товарной продукции сельского хозяйства эти показатели составляли соответственно 49%, 15%,

14%, 6% и 6% [16, с. 232]. Обоснование натурально-потребительского характера ЛПХ, его «ненацеленности» на извлечение рыночной выгоды (чтобы отвести возможные подозрения в «нетрудовых доходах» – от которых недалеко и до того, чтобы переквалифицировать ЛПХ в «частную собственность», что на практике попахивало уголовщиной) давало основание советским экономистам и юристам квалифицировать личное подсобное хозяйство тружеников советского села как «специфическую переходную *социалистическую* форму производства» [17, с. 3].

В начале 90-х гг. под напором либеральной идеологии, стремительно занявшей в обновлявшейся России то место, которое в течение долгого времени до того принадлежало научному коммунизму, поиск «социалистической» одежды для ЛПХ утратил былую актуальность. А на статус окрепшего «ростка капитализма» оно и тем более явно не тянуло. И все же исследователи аграрных отношений продолжали попытки каким-то образом квалифицировать, отнести к какой-то теоретической категории, какому-то теоретическому определению этот уклад экономики, не только не утративший, но многократно увеличивший свое реальное значение для элементарного выживания большинства населения страны. Так, на втором заседании теоретического семинара «Современные концепции аграрного развития» Ю.Г. Александров подчеркнул, что «колхозы и совхозы были не столько крупными сельскохозяйственными предприятиями, сколько специфической формой для тоталитарной организации общества индустриального типа. И как бы ни была привержена часть нашего аграрного населения колхозам и совхозам, сколько бы ни утверждали консервативные политики, что колхозы и совхозы накормят страну, эти структуры обречены на какое-то перерождение. Но если иметь в виду, что значительная часть нашего аграрного населения десятилетиями привыкла использовать для личных нужд ресурсы колхозов и совхозов нелегально и даже криминально, то, наверное, заслуживает серьезной проработки идея о том, что современная

реформа должна переместить акцент на подсобное крестьянское хозяйство с тем, чтобы бывший колхоз в условиях рыночного хозяйства превратился в систему снабжения и обслуживания, но осуществляемого легально» [18, с. 18].

Нужно отметить, что это – суждение концептуального характера, в котором был отражен очень важный аспект функционирования ЛПХ, – было озвучено в июне 1992 г. в рамках обсуждения концептуальных статей, составивших книгу Т. Шанина «Определяя крестьянство» [19]. Отметим также, что в упомянутом выше теоретическом споре, который в 70-е – 80-е гг. разворачивался в специальной и пропагандистской литературе, о том, что такое по сути своей ЛПХ – переходная форма к зрелому социализму или пережиток капитализма, блестяще демонстрирующий преимущества последнего перед аграрной экономикой административно-командного типа, – так вопрос не ставился и не мог в принципе ставиться. Полулегальные-полукриминальные аспекты бытия людей, ведущих ЛПХ, категорически не вписывались в прекраснородушные идеологически «чистые» варианты теории прогресса (адепты которых, собственно, и вели эту полемику по ЛПХ). Зато такие аспекты повседневной жизни в крестьянских и посткрестьянских обществах являлись и являются объектом самого пристального внимания крестьяноведения. В рамках теоретической концепции «моральной экономики» крестьянства специально рассматриваются самые разнообразные способы, которыми люди в таких обществах обходят юридические законы и установления с минимальными рисками для себя (хотя, конечно, людям аграрной цивилизации очень хорошо известно, что означает русская народная поговорка: «От сумы да от тюрьмы не зарекайся»). Патриарх крестьяноведения Дж. Скотт, как известно, концептуализировал эти способы, известные теперь специалистам с его легкой руки как «оружие слабых» [20; 21].

Сам Т. Шанин в «Defining Peasants» также выступил с теоретической концепцией, применение которой к анализу функционирования ЛПХ советских/постсоветских граждан позволяет усмотреть в нем куда больше, чем «пережиток капитализма» или «переходную социалистическую форму». Поэтому, наверное, закономерно, что его российские коллеги, всю жизнь наблюдавшие и анализировавшие явление, стали высказывать подобные взгляды именно при обсуждении той книги. Шанин обозначил экономику ЛПХ и другие виды экономической деятельности, которые существуют, мощно функционируют и составляют в содержательном плане огромную часть повседневной жизни огромного большинства населения стран, подобных России (в отношении крестьянственности), термином «эксполярная экономика». В этот неологизм ученый заложил тот смысл, что мышление прогрессистов (с которыми он всю свою жизнь вел и ведет острейшую полемику, атакуя их шаблоны и стереотипы) полярно: либо капитализм и рынок, либо социализм и план – все многообразие реальных форм социального бытия и «сведения концов с концами» либо полностью выпадает из внимания мыслителей-прогрессистов, либо, если уж явление настолько заметное, что фигура умолчания не проходит, что называется, «за уши притягивается» к одному из полюсов. А явление-то, по Шанину, «эксполярно». Лучшим подтверждением правомерности такого теоретического подхода стал следующий непреложный факт. Советский «социализм» в начале 90-х рухнул окончательно, а ЛПХ осталось – и летом 1992 г. участникам упомянутого теоретического семинара было, что обсуждать в этом плане. Шесть лет спустя в стране, вроде бы, построилось какое-то подобие капитализма и рынка – а у участников Московской международной конференции «Эксполярные/неформальные экономики: сущность и методы изучения» (январь 1998 г.) по-прежнему не было недостатка в материале для анализа: многие доклады были посвящены тому, за чем в прежние времена была закреплена аббревиатура ЛПХ.

Это и многие другие явления, которые могут быть отнесены к сфере «эксполярной», или неформальной, экономики, без всяких сомнений стало главным фактором выживания основной части постсоветского населения в постперестроечное время катастрофических экономических реформ. Как говорил Т. Шанин на той конференции «социально-экономическое выживание российского общества – это главный парадокс ее новейшей истории. Причины существования этого парадокса, несомненно, многочисленны, но его основное звено явствует из здравого смысла и многих остроумных анекдотов большинства россиян, касающихся их экономического существования» [22, с. 12]. Там, где речь идет об исследовании парадоксов при помощи здравого смысла, ищи крестьяноведов – другим мыслителям это скучно и неинтересно. А там, где в качестве исследовательского инструмента используются остроумные анекдоты на темы экономического и политического бытия, ищи приверженцев концепций «моральной экономики» и «оружия слабых».

Неформальная («эксполярная») экономика, повседневное выживание, приспособление и сопротивление («моральная экономика», «оружие слабых») – все эти *теории среднего уровня* применялись в исследовательской практике группой исследователей-полевиков под научным руководством Т. Шанина, приступивших в 1990 г. к последовательному осуществлению трех больших исследовательских проектов в селах Российской Федерации. Причем участникам этой творческой работы удалось кое в чем существенно обогатить эти в общем-то международные теоретические модели, приспособив их к анализу нескучной российской действительности. В рамках первого из исследований осуществлялся анализ-синтез добытых по специальным методикам опроса автобиографий 124 сельских семейств 25 сел из восьми регионов нашей страны. Его основные результаты были опубликованы с 1996 г. [23], хотя огромный архив предполагает дальнейшее изучение. Второе исследование «Реальная экономика и реальная политика

русских сел» осуществлялось с целью достижения репрезентативности результатов в семи селах очень разных по множеству характеристик семи регионов сельской России: Вологодская, Тверская, Нижегородская, Орловская, Курганская, Саратовская области и Краснодарский край. Его результаты, регулярно публиковавшиеся в периодическом научном издании «Крестьяноведение», были подытожены в 2002 г. [24].

Третье исследование можно считать сквозным для всего вот уже почти четвертьвекового периода этих комплексных аналитических усилий социологов-аграрников по фиксированию каких-то принципиальных характеристик образа жизни (и образа мысли) сельских жителей нашей страны – фиксированию как в статике, так и в динамике. Оно сфокусировано на семейном хозяйстве, эволюции крестьянского двора, его непростых и очень непросто анализируемых взаимоотношениях с тем, что прежде называлось «колхоз» (совхоз), а в последнее время представляет собой какие-то новые центры кристаллизации местной жизни, сельской крестьянской повседневности. На протяжении такого весьма солидного времени участники исследования сумели вжиться в проблематику, сжиться с объектом своего изучения. Основные итоги этой исследовательской деятельности были опубликованы в 2013 г. в виде небольшой по объему монографии под названием «Крестьянские жизненные практики. Россия 1991-2012», насыщенной таким количеством обобщений и выводов, чрезвычайно важных для отечественной аграрной (и не только) историографии, что на этой теоретической основе могут (и должны) быть созданы конкретно-исторические исследования на региональном материале [25]. Теоретико-методологический инструментарий, разработанный в этой книге, позволяет начинать такие исследования от периода коллективизации и вплоть до осуществления современной аграрной реформы с ее решительным демонтажем не просто колхозов и совхозов, но (и в этом главный итог «Крестьянских жизненных практик») всей системы формальных и

неформальных («эксполярных») взаимосвязей между колхозом и двором. Приведу ниже собственный анализ содержания этой монографии, из которого следует, что ее авторам удалось создать некий критерий, угол зрения, чрезвычайно плодотворный для содержательного анализа и периодизации истории аграрных отношений в России советского и постсоветского периода.

Известно, что ухватить и запечатлеть сложные явления общественной жизни можно лишь при помощи слов – дальше уже метафизика, неизъяснимое. Впрочем, в иных текстах о крестьянах (А.П. Чехов, Н.С. Лесков, Г.И. Успенский и др.), вроде бы тоже состоящих только из слов, безусловно, присутствует какая-то метафизика, магия. Конечно, «мысль изреченная есть ложь», с великим философом Ф.И. Тютчевым не поспоришь. Но авторы «Крестьянских жизненных практик», запасшись терпением, на протяжении двух десятилетий побуждают своих респондентов изрекать свои мысли в форме воспоминаний и размышлений. Это что же: провоцируют на ложь?

Нет, тут все гораздо интереснее. Они сознательно ожидают, когда одни и те же сельские жители об одних и тех же вещах (колхозы, начальство, богатство, воровство, порядок) выскажут противоположные, даже взаимоисключающие суждения и с грохотом сталкивают эти суждения – а вдруг получатся искорки понимания, знания. А житель российской деревни – шире: русский человек – высказывает противоположные суждения, как дышит. По-моему, одна из возможных формулировок пресловутой «загадки русской души» может выглядеть так: делать одно, говорить другое, думать третье при полном и искреннем отсутствии ощущения противоречивости такой ситуации. Правда, это свойство сохраняется у человека до тех пор, пока он не слишком изуродован политической пропагандой или не стал адептом одной из «парадигм» общественно-исторической науки. Однако

таких людей, претерпевших, по фразеологии авторов, «ценностное изменение самого человеческого существа» [25, с. 166], в нашей сельской местности пока что не большинство, и их рассказы в книгу, кажется, не вошли.

Чтобы составилось представление о форме и содержании монографии, приведу большую выдержку, в которой мне и встретилось замечательное и искрометное прилагательное к заурядному слову «экономика».

«Хозяйственная жизнь колхоза начала 1990-х была основана на причудливой *морально-аморальной экономике* [курсив мой – В.Б.], на комбинации совести и бессовестности, на изобретательном, лихом воровстве и угрюмой бережливости и даже скряжничестве, когда речь заходит о мелких тратах на людские нужды – установку вентиляторов, обогревателей и т.п. А в итоге – на тотальном двоедушии, на социально-экономическом оборотничестве. Поэтому мы убеждены, что крестьяне – и неудобный, неуклюжий, и в то же время какой-то непонятный, можно сказать, посторонний класс. Он систематически в стороне, “в сторонке”, на обочине магистральных (или объявленных таковыми) социальных процессов. И там ему, судя по всему, удобно и комфортно. Он чужой. Чужой всему: рациональности, демократии, рынку, писаной законности, правилам среднестатистической цивилизованности. Он – хитроватый наблюдатель всего этого внешнего ему мира. И это особое место он хорошо знает и бережет, уводя от него сторонних наблюдателей, как птица уводит от гнезда озорников. Вот лукавейшие крестьянские рассуждения, записанные нами на Севере России:

– *Крестьянский народ – бестолковый! Приживется, так и в аду живет. Не ищет хорошей жизни. Вот говорят: “Рыба ищет где глубже, а человек – где лучше...” Это – пустая поговорка. Человек живет, где родился!* (Север, Архангельская область, Пинежский район, дер. Кобелево. Попов)» [25, с. 52].

Приведенный отрывок дает возможность оценить прекрасный язык, которым написана книга, глубину и точность сделанного теоретического обобщения, бережное отношение авторов к форме и содержанию рассуждений респондентов. Книга содержит еще целый ряд, буквально россыпь таких обобщений и умозаключений, любое из которых вполне оправдало бы издание толстого научного труда в обоснование и подтверждение. Хочется верить, что такие монографии – дело близкого будущего, когда используемый в «Крестьянских практиках» методологический подход попрочнее укоренится в наших социально-исторических исследованиях. Собственно говоря, изобилие свежих неизбитых мыслей, о котором речь, явилось результатом как раз того, что авторы в течение двух десятилетий оттачивали в своем исследовании этот очень нетривиальный методологический подход, который сами они именуют *двойной рефлексивностью* [26].

Невозможно не порадоваться, видя такую рефлексивность в действии. Сходные эмоции я испытывал, когда в 1992 г. читал «Моральную экономику» Дж. Скотта [27], готовясь к самому первому заседанию теоретического семинара «Современные концепции аграрного развития»: просто какой-то конгломерат открытий, разбивавших и уходящие вульгарно-марксистские стереотипы исторического мышления, и – в еще большей степени – рыночно-либеральные стереотипы. А последние, надо отметить, тогда буквально рвались занять святое место государственной идеологии – и на какое-то время им это практически удалось. Размышляя над этим на самом семинаре, А.В. Гордон говорил: «Секрет научного долголетия этой работы в том, что, по-моему, Дж. Скотту удалось *соединить несоединимое* (курсив мой – В.Б.). До него в крестьяноведении выделялось четыре основных подхода... Дж. Скотту, кажется, удалось нечто большее: он создал общую теорию, сумев в ней в какой-то степени соединить все эти подходы» [28, с. 18-19].

У авторов «Крестьянских практик» несоединимое соединяется уже в самом исследовательском методе. Это сложное сочетание взглядов на проблему с макро- и микроуровней [см. подробнее: 26]. «Наблюдения сверху», оперирование экономической и социальной статистикой по регионам позволяет констатировать разнообразие тенденций эволюции аграрного производства и сельского населения, например, различие тех реальных условий, в которых сегодня оказываются крестьяне севера и средней полосы. Но сведение такой общей информации к еще более широким обобщениям – по стране в целом – не может не сопровождаться известным отрывом от реальности, от земли. Что и происходило с нашей общественной наукой во все времена. Авторы предлагают разрешение этого противоречия путем параллельного накопления и систематизации информации «снизу», позволяющей так нащупать нечто общее и очень важное, несмотря на региональные различия. «...Такого рода методологический подход, – пишут они, – дает великолепную возможность уловить и понять систему микроизменений, а также их процесс, их темп, их детали, степень их возможной стремительности и необратимости и, равным образом, их временные “откаты”, их торможения и холостые ходы, – то есть все то, что “сверху” незаметно и поэтому якобы неважно» [25, с. 42].

Меня не перестает волновать вопрос: там «наверху» полагают все это неважным из-за того, что в противном случае пострадает чистота и стройность их реформаторских теорий? Или же наоборот: лишь делают вид, что стройность и логичность теории обеспечит эффективность реформ на практике, заведомо зная, что жизнь преобразует их намерения и посулы до неузнаваемости, но желая извлечь сиюминутную корыстную выгоду? «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги» – вот это не пустая поговорка. Добросовестно ли мы все время забываем про овраги в погоне за гладкостью бумажной версии нашей истории? Памятуя о том, как в свое время сформулировал ту же мысль В.С. Черномырдин, можно и пожестче

поставить этот вопрос: действительно ли хотим, как лучше, или лишь делаем вид, заведомо зная, что получится как всегда?

С такой меркой можно подойти к крестьянской реформе 1861 г., от которой испытывают полный восторг современные либералы, воздвигнув памятник Александру Освободителю возле Храма Христа Спасителя [см. об этом: 29]. Тогда станет лучше видно, что, может быть, и не стоило *так* освобождать крестьян, запрограммировав тем самым революционные события XX в. [30, с. 135-142]. Может быть, без *такого* реформаторства экономический потенциал страны мог бы реализоваться куда более разумно [31, с. 20-44]. Подобный же взгляд целесообразен и на столыпинскую аграрную реформу, от которой современные либералы в еще большем восторге. В советской историографии ее провал объяснялся половинчатостью и пропомещичьим характером. За последние четверть века создана целая литература, которую знающие люди иронически именуют «столыпинианой» [32, с. 207]. Там сказано, что она и не провалилась вовсе, а, напротив, блестяще продемонстрировала преимущества частной собственности на землю, а не какой-нибудь там общинной или, тем более, колхозной.

Анализируя впечатляющую статистику «аграрных беспорядков», которые развернулись в связи с осуществлением столыпинского земельного законодательства, П.Н. Зырянов образно писал, что эта статистика «показывает нам лишь видимую, измеряемую часть тех рифов, на которые напоролся столыпинский корабль. Рифы не казались высокими и прочными. Столыпин же и его окружение были решительными, но малоискусными лоцманами. Они плохо представляли себе то, что было скрыто под поверхностью народной жизни. И им не удалось “протаранить” толщу крестьянства, чтобы окончательно навязать стране путь развития, выгодный горстке помещиков, но обрекающий основную часть народа на долгие годы нищеты и голодовок» [33, с. 155].

Параллель между теми событиями и аграрным реформированием 1990-х гг. просматривается очень отчетливо. Об этом еще в июне 1992 г. в ходе дискуссии по книге Т. Шанина «Определяя крестьянство» прямо говорил П.Н. Зырянов: «Что касается в целом современной ситуации в деревне, то аграрная реформа, которая сейчас вырисовывается, представляется мне какой-то скверной пародией на столыпинскую реформу, и поэтому столь нервно воспринимается всякая критика Столыпина и его аграрных преобразований. Мы никуда не денем тех людей, что живут сегодня в деревне, и фермеров из Америки себе не выпишем. Поэтому, на мой взгляд, нашим реформаторам надо обратить самое пристальное внимание на приусадебное хозяйство, производительность в котором всегда была на порядок выше, чем в колхозно-совхозном производстве» [18, с. 21]. А Ю.Г. Александров на том же заседании теоретического семинара высказал мысль, созвучную главной теме «Крестьянских жизненных практик», о том, что современным аграрным реформаторам необходимо руководствоваться не оторванными от жизни идейными установками, а исходить из очевидного факта: значительная часть аграрного населения страны привычно использовала и использует ресурсы колхозов и совхозов нелегально и даже криминально для нужд ЛПХ. Так нет ли смысла законодательно оформить эти исторически сложившиеся социально-экономические отношения? [18, с. 18].

Логично и вызывающе. Вызов состоял в том, что крестьянское воровство в крупном хозяйстве, хоть оно и составляло важнейший фактор аграрной эволюции повсеместно и во все времена, никогда не признавалось и категорически осуждалось в официальном законодательстве, будь оно, законодательство (да и воровство тоже), капиталистическим или социалистическим. Концепция «моральной экономики крестьянства» стремится покончить с этой страусиной политикой, она затем и создавалась, чтобы не столько гладко выглядеть на бумаге, сколько «не забывать про

овраги». За этим же участники авторского коллектива «Крестьянских практик» приступали тогда, в начале 90-х, к исследованию «оврагов» и других особенностей рельефа местности.

В этой связи претензия к аннотации, сопровождающей «Крестьянские практики». Издание адресуется и социальным антропологам, и экономическим географам, и кому только не. А где историки? Причем не только историки аграрных отношений в России, но вообще историки России? В этой отрасли общественной науки до сих пор еще очень много снобизма, когда авторы толстых книг кичатся количеством проработанных архивных фондов и объемами проанализированной исторической статистики, искренне полагая, что от всего этого в прямой пропорциональной зависимости находится *научность* их выводов. О необходимости междисциплинарных подходов, большего внимания, к примеру, к социально-психологическим аспектам исторических проблем довольно часто все ограничивается лишь разговорами. Слишком уж большого мозгового напряжения требует распутывание диалектики личного и общего в душах людей, населяющих русскоязычное пространство.

Куда удобнее объявить прежние (социалистические или коммунистические) основания общественного прогресса ложными, а новые частнособственнические (они же – старые, столыпинские) – истинными. А после, когда последние неизбежно потерпят крах на российской почве, как и во времена Столыпина, уютно скатываться на салазках патриотизма и поиска новой национальной идеи к каким-то прежним «парадигмам». Но, поскольку очень уж с большим воодушевлением отрицали коммунизм, нащупать что-то вроде лозунга кронштадтских матросов: «Советская власть, но без коммунистов!». После публикации «Крестьянских практик» совестливый историк себе такого уже не позволит. Авторам книги – небольшой по объему и очень удобочитаемой – на основании предшествующей многолетней работы с огромным массивом колхозных повествований удалось

сформулировать такие выводы, что обе главные вариации на темы прогресса вынуждены посторониться. Похожее чудо сотворил в 1966 г. Эрик Вульф, сумевший уместить в книжку объемом в 127 страниц всю историософию крестьяноведения [34, 1966]. «Крестьянские практики» вплотную приблизились к вечной теме двойственности русской души. В рассказах колхозников «за жизнь» буквально рефреном звучит: «...*Нет у нас хозяина. И никто ничего не хочет!*»; «*Развалили все, продали все! Никому тут ничего не надо*» [25, с. 163, 165]. По-английски такое в принципе сформулировать невозможно. И каким-то непостижимым образом это по сути выражает нечто обратное: всем тут *все* надо – причем здесь и сейчас! За постижением авторы очень удачно обращаются к помощи хайдеггеровского «Европейского нигилизма» с его «волей к ничто» и «ничего-не-волением» и в результате получают следующее:

«На протяжении обозримой истории российского крестьянства “воля к ничто” присутствует как сущностное событие, и поэтому не может быть изменено другим волевым действием. Достаточно вспомнить ряд волевых действий власти по реформированию крестьянства в России в течение последних двух столетий. Так, отмена крепостного права в России в 1861 году Манифестом, подписанным Александром II, привела к обнищанию и разорению крестьян, появлению “сельских пролетариев”, бывших крестьян, выживающих за счет случайных заработков. Принятие решения о коллективизации в СССР единоличных крестьянских хозяйств в коллективные хозяйства на XV съезде ВКП(б) в 1927 году привело к голоду 1932-1933 годов в основном среди сельского населения и смерти от него свыше 5 миллионов крестьян. Приватизация 90-х годов прошлого столетия колхозно-совхозной собственности привела к резкой “поляризации” сельского населения России. Бывшие руководители колхозов и совхозов стали “хозяевами” агрохолдингов и акционерных обществ со своим бюрократическим аппаратом, сосредоточив в своих руках практически все

ресурсы (земельные, производственные, финансовые). Основная масса сельского населения – безработные, выживающие за счет каторжного труда в своих домохозяйствах и имеющие в собственности “виртуальные” земельные паи» [25, с. 165-166].

Чисто внешне это широкое обобщение очень напоминает то, что писал В.П. Данилов в своей знаменитой статье о судьбах сельского хозяйства в России [35, с. 10-29]. Но это лишь внешнее сходство. У В.П. Данилова все время присутствует представление об упущенных исторических возможностях. И реформы, разработанные Н.Х. Бунге, имели все шансы на успешную реализацию. И кооперативная коллективизация по А.В. Чаянову и Н.И. Бухарину была вполне научно обоснованной перспективой в ретроспективе. И, наконец, в преддверие срыва в политику бездумного уничтожения колхозов во славу «невидимой руки рынка» предпринимались попытки довести до сознания политического руководства глубоко обоснованные экспертные оценки того, как должна осуществляться аграрная реформа в стране [см.: 36, с. 420-428]. В «Крестьянских практиках» больше детерминизма: происходит то, что происходит, и в адекватном объяснении нуждается не столько *почему*, сколько *что*.

Те, кто во главу угла ставит «почему», как бы заведомо знают ответ на «что». В советской историографии коллективизация – это прорыв в новый технологический уклад в аграрном производстве – «неотехнический экотип», по Э. Вульффу [см.: 37, с. 86-89]. В этом случае, «почему», как говорится, и ежу понятно: прогресс как объективная закономерность общественного развития. В постсоветской историографии колхозы – «трагедия российской деревни», причина – «сталинизм». Авторы «Крестьянских практик» категорически не устраивают оба эти взгляда. У них свой ответ на вопрос, *что*: диалектика взаимоотношений колхоза и двора, общественного и личного хозяйства. И это обязывает их именно к тому, что они и делают: через анализ крестьянских откровений понять характер и основные этапы

эволюции этой взаимосвязи. В таком ракурсе им удастся увидеть, что на первых порах этого сосуществования колхоз по существу являлся филиалом двора (разумеется, не с формально-правовой, но с обычно-правовой точки зрения); в позднеколхозный период (70-е – середина 80-х годов) они в этом отношении меняются местами. А на рубеже 80-х – 90-х начинается обвальное разрушение взаимных моральных обязательств между двумя сторонами, двумя участниками этого диалектического единства: «...двор и колхоз превратились во взаимные филиалы, взаимные “фильтры”, взаимные “угодья”, между которыми происходила ежедневная борьба и сотрудничество. И это странное состояние, похожее на бег по кругу или даже взаимное преследование оказалось, как нам представляется, определяющим для будущих судеб аграрной России» [25, с. 46].

Эта агония полутысячелетнего симбиоза (если признать, что у крестьян в начале 1930-х были все основания расшифровывать ВКП(б) как «второе крепостное право») показалась ее исследователям в одно и то же время и прекрасной, и отвратительной [25, с. 49]. С такого наблюдательного пункта, как двойная рефлексивность, этот парадокс хорошо просматривается. Колхозники проникались к колхозу презрением за нелепую комбинацию полукнута-полупряника [25, с. 47-48] – почти как крестьяне в чеховском рассказе «Новая дача» к новым «добреньким» барам. Но это было совершенно не то, о чем несли в эфир Ю.Д. Черниченко и его единомышленники. Это презрение очень органично сочеталось с презрением к самим себе за то, что позволили раздербанить колхоз и сами не удержались от того, чтобы поучаствовать. И тем самым осиротили двор. На время. Авторы в уверены в возрождении в тех или иных формах сельского двора в новой общественной реальности: «Какой бы ни была государственная экономико-политическая машина, крестьянский двор будет стремиться занять в обществе особое место – одновременно связанное с центральным

“силовым агрегатом” (политическим, экономическим, ресурсным) и, по возможности, отключенное, независимое, в меру далекое от него» [25, с. 51].

Таким образом, крестьяноведческое исследование вопроса о том, как российские жители деревни вели и ведут свое семейное хозяйство, способно как-то примирить стороны в острых в недавнем прошлом спорах: что же такое ЛПХ советских колхозников – переходная форма к социалистическому сельскому хозяйству или живое свидетельство несостоятельности последнего в пользу аграрного капитализма. Ни то ни другое – поскольку ни о социализме в новейшей российской истории говорить не приходится без серьезных оговорок, ни, тем более, об аграрном капитализме. Это скорее не переходная, а относительно устойчивая форма того, что Т. Шанин позиционирует как «эксполлярную экономику», свидетельствующая о живучести традиций крестьянской цивилизации в истории нашей страны, крестьянского менталитета весьма значительной части ее населения и способная возродиться при любой конфигурации, которую приобретет российская политико-экономическая модель в ближайшем будущем, заняв в ней свое внятно показанное исследователями место. Остается добавить, что и в исторической ретроспективе и в рамках социальных исследований современности продолжает сохранять актуальность изучение региональной специфики данной проблемы. И даже локальной ее специфики – если вспомнить, что в СССР в одном районе могли вполне благополучно соседствовать колхоз-миллионер и вечно лежащее общественное хозяйство, в котором каждую осень труженики ЛПХ имели возможность наблюдать на своих колхозных полях множество студентов и других городских жителей.

Список использованных источников

1. Анфимов А.М. П.А. Столыпин и российское крестьянство. М., 2002.
2. Заславская Т.И. Избранное: в 3 т. Т. 3. Моя жизнь: воспоминания и размышления. М., 2007.
3. Шарапов Г.В. Критика антикоммунизма по аграрному вопросу. М., 1966.
4. Wadekin K.-E. The Private Sector in Soviet Agriculture. L., 1973.
5. Rumer B. The “second” agriculture in the USSR // Soviet Studies. 1981. Vol. XXXIII. №4.
6. Osofsky S. Soviet Agricultural Policy. Toward the Abolition of Collective Farms. N.Y., 1974.
7. Capitalism down on the farm // The Economist. 1981. Vol. 278. № 7171.
8. Современные концепции аграрного развития. Теоретический семинар // Отечественная история. 1994. № 4-5.
9. Бабашкин В.В. О терминологических ловушках при анализе путей России в XX в. // Вестник Российского государственного аграрного университета. Научный журнал. № 1 (6). М., 2006.
10. Полищук В.Д. Критика буржуазной фальсификации аграрной политики КПСС на современном этапе. (По материалам западногерманской литературы 60-х – середины 70-х гг.). Саратов, 1982.
11. Яковлев А.Н. Большевизм – социальная болезнь XX века // Черная книга коммунизма. Преступления, террор, репрессии: Пер. с франц. М., 1999.

12. Современные концепции аграрного развития. Теоретический семинар // Отечественная история. 1992. № 5; 1993. № 2, 6; 1994. № 2, 4-5, 6; 1995. № 2, 4, 6; 1996. № 4; 1997. № 2; 1998. № 1, 6; Бабашкин В.В. Россия в 1902-1935 гг. как аграрное общество: закономерности и особенности отечественной модернизации. М., 2007. С. 186-226.
13. Троцук И.В. «...Я всё-таки должен сознаться открыто, что часто завидую им: в их жизни так много поэзии слито, как дай бог балованным деткам твоим», или Картография времени и пространства сельской России. Рецензия на книгу: Виноградский В.Г. Крестьянские координаты. Саратов, 2011 // Крестьяноведение. Теория. История. Современность. Учёные записки. 2012. Выпуск 7. М., 2012.
14. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка (репринтное издание 1880 – 1882 гг.). М., 1989.
15. Бабашкин В.В. Россия 1902-1935 годов как аграрное общество: опыт применения концептуальных подходов современного крестьяноведения. Саарбрюкен, 2011.
16. Народное хозяйство СССР 1922-1982. Юбилейный статистический ежегодник. М., 1982.
17. Козырь М.И. Правовое регулирование личного подсобного хозяйства граждан. М., 1981.
18. Современные концепции аграрного развития. Теоретический семинар // Отечественная история. 1993. № 2.
19. Shanin T. Defining Peasants. Essays concerning Rural Societies, Expolary Economies, and Learning from them in the Contemporary World. Oxford, 1990.
20. Scott J.C. Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance. New Haven: YaleUniversity Press, 1985.

21. Скотт Дж. Оружие слабых: обыденные формы сопротивления крестьян [1989] // Крестьяноведение. Теория. История. Современность. Ежегодник. 1996. М.: Аспект Пресс, 1996. С. 26-59.
22. Неформальная экономика. Россия и мир / Под ред. Теодора Шанина. М., 1999.
23. Голоса крестьян: Сельская Россия XX века в крестьянских мемуарах. М., 1996.
24. Рефлексивное крестьяноведение: Десятилетие исследований сельской России / Под ред. Т. Шанина, А. Никулина, В. Данилова. М., 2002.
25. Крестьянские жизненные практики. Россия, 1991-2012: [монография] / В.Г. Виноградский, О.Я. Виноградская, А.М. Никулин, О.П. Фадеева. – Саратов, 2013.
26. Шанин Т. Методология двойной рефлексивности в исследованиях современной российской деревни // Рефлексивное крестьяноведение. М., 2002. С. 69-92.
27. Scott J.C. Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia. New Haven, L., 1976.
28. Современные концепции аграрного развития. Теоретический семинар // Отечественная история. 1992. № 5.
29. Севастьянов А.Н. Реформы Александра Второго в оценке современников и потомков // <http://www.sevastianov.ru/prochie-statji/reformy-aleksandra-vtorogo-v-otsenke-sovremennikov-i-potomkov.html>
30. Бабашкин В.В. Год 1861-й как провозвестник крестьянской революции начала XX в. // Крестьянская реформа 1861 г.: реформы и последствия (Материалы Всероссийской научной конференции, посвященной 150-летию отмены крепостного права в России). М., 2011. С. 135-142.
31. Рязанов В.Т. Реформа 1861 г. в России: причины и исторические уроки // Крестьянская реформа 1861 г.: реформы и последствия (Материалы

- Всероссийской научной конференции, посвященной 150-летию отмены крепостного права в России). М., 2011. С. 20-44.
32. Кондрашин В.В., Слепнёв И.Н. К 80-летию со дня рождения Андрея Матвеевича Анфимова // Отечественная история. 1998. № 3. С. 206-208.
33. Зырянов П.Н. Крестьянская община Европейской России в 1907-1914 гг. М., 1992.
34. Wolf E. Peasants. Englewood Cliffs, N.J., 1966.
35. Данилов В.П. Судьбы сельского хозяйства в России (1861-2001 гг.) // Крестьяноведение. Теория. История. Современность. Учёные записки. 2005. Выпуск 5. М., 2006.
36. Данилов В.П. Из истории «перестройки». Переживания шестидесятника-крестьяноведа // Новый мир России. Форум японских и российских исследователей. К 60-летию проф. Вада Харуки. М., 2001. С. 413-428.
37. Современные концепции аграрного развития. Теоретический семинар // Отечественная история. 1993. № 6.